# Университетская поэма

***1

«Итак, вы русский? Я впервые
 встречаю русского…» Живые,
 слегка навыкате, глаза
 меня разглядывают: «К чаю
 лимон вы любите, я знаю;
 у вас бывают образа
 и самовары, знаю тоже!»
 Она мила: по нежной коже
 румянец Англии разлит.
 Смеется, быстро говорит:
 «Наш город скучен, между нами,—
 но речка — прелесть!.. Вы гребец?»
 Крупна, с покатыми плечами,
 большие руки без колец.

2

Так у викария за чаем
 мы, познакомившись, болтаем,
 и я старательно острю,
 и не без сладостной тревоги
 на эти скрещенные ноги
 и губы яркие смотрю,
 и снова отвожу поспешно
 нескромный взгляд. Она, конечно,
 явилась с теткою, но та
 социализмом занята,—
 и, возражая ей, викарий,—
 мужчина кроткий, с кадыком,—
 скосил по-песьи глаз свой карий
 и нервным давится смешком.

3

Чай крепче мюнхенского пива.
 Туманно в комнате. Лениво
 в камине слабый огонек
 блестит, как бабочка на камне.
 Но засиделся я,— пора мне…
 Встаю, кивок, еще кивок,
 прощаюсь я, руки не тыча,—
 так здешний требует обычай,—
 сбегаю вниз через ступень
 и выхожу. Февральский день,
 и с неба вот уж две недели
 непрекращающийся ток.
 Неужто скучен в самом деле
 студентов древний городок?

4

Дома,— один другого краше,—
 чью старость розовую наши
 велосипеды веселят;
 ворота колледжей, где в нише
 епископ каменный, а выше —
 как солнце, черный циферблат;
 фонтаны, гулкие прохлады,
 и переулки, и ограды
 в чугунных розах и шипах,
 через которые впотьмах
 перелезать совсем не просто;
 кабак — и тут же антиквар,
 и рядом с плитами погоста
 живой на площади базар.

5

Там мяса розовые глыбы;
 сырая вонь блестящей рыбы;
 ножи; кастрюли; пиджаки
 из гардеробов безымянных;
 отдельно, в положеньях странных
 кривые книжные лотки
 застыли, ждут, как будто спрятав
 тьму алхимических трактатов;
 однажды эту дребедень
 перебирая,— в зимний день,
 когда, изгнанника печаля,
 шел снег, как в русском городке,—
 нашел я Пушкина и Даля
 на заколдованном лотке.

6

За этой площадью щербатой
 кинематограф, и туда-то
 по вечерам мы в глубину
 туманной дали заходили,—
 где мчались кони в клубах пыли
 по световому полотну,
 волшебно зрителя волнуя;
 где силуэтом поцелуя
 все завершалось в должный срок;
 где добродетельный урок
 всегда в трагедию был вкраплен;
 где семенил, носками врозь,
 смешной и трогательный Чаплин;
 где и зевать нам довелось.

7

И снова — улочки кривые,
 ворот громады вековые,—
 а в самом сердце городка
 цирюльня есть, где брился Ньютон,
 и древней тайною окутан
 трактирчик «Синего Быка».
 А там, за речкой, за домами,
 дерн, утрамбованный веками,
 темно-зеленые ковры
 для человеческой игры,
 и звук удара деревянный
 в холодном воздухе. Таков
 был мир, в который я нежданно
 упал из русских облаков.

8

Я по утрам, вскочив с постели,
 летел на лекцию; свистели
 концы плаща,— и наконец
 стихало все в холодноватом
 амфитеатре, и анатом
 всходил на кафедру,— мудрец
 с пустыми детскими глазами;
 и разноцветными мелками
 узор японский он чертил
 переплетающихся жил
 или коробку черепную;
 чертил,— и шуточку нет-нет
 да и отпустит озорную,—
 и все мы топали в ответ.

9

Обедать. В царственной столовой
 портрет был Генриха Восьмого —
 тугие икры, борода —
 работы пышного Гольбайна;
 в столовой той, необычайно
 высокой, с хо’рами, всегда
 бывало темновато, даром,
 что фиолетовым пожаром
 от окон веяло цветных.
 Нагие скамьи вдоль нагих
 столов тянулись. Там сидели
 мы в черных конусах плащей
 и переперченные ели
 супы из вялых овощей.

10

А жил я в комнате старинной,
 но в тишине ее пустынной
 тенями мало дорожил.
 Держа московского медведя,
 боксеров жалуя и бредя
 красой Италии, тут жил
 студентом Байрон хромоногий.
 Я вспоминал его тревоги,—
 как Геллеспонт он переплыл,
 чтоб похудеть. Но я остыл
 к его твореньям… Да простится
 неромантичности моей,—
 мне розы мраморные Китса
 всех бутафорских бурь милей.

11

Но о стихах мне было вредно
 в те годы думать. Винтик медный
 вращать, чтоб в капельках воды,
 сияя, мир явился малый,—
 вот это день мой занимало.
 Люблю я мирные ряды
 лабораторных ламп зеленых,
 и пестроту таблиц мудреных,
 и блеск приборов колдовской.
 И углубляться день-деньской
 в колодец светлый микроскопа
 ты не мешала мне совсем,
 тоскующая Каллиопа [1],
 тоска неконченых поэм.

12

Зато другое отвлекало:
 вдруг что-то в памяти мелькало,
 как бы не в фокусе,— потом
 ясней, и снова пропадало.
 Тогда мне вдруг надоедало
 иглой работать и винтом,
 мерцанье наблюдать в узоре
 однообразных инфузорий,
 кишки разматывать в уже;
 лаборатория уже
 мне больше не казалась раем;
 я начинал воображать,
 как у викария за чаем
 мы с нею встретимся опять.

13

Так! Фокус найден. Вижу ясно.
 Вот он, каштаново-атласный
 переливающийся лоск
 прически, и немного грубый
 рисунок губ, и эти губы,
 как будто ярко-красный воск
 в мельчайших трещинках. Прикрыла
 глаза от дыма, докурила,
 и, жмурясь, тычет золотым
 окурком в пепельницу… Дым
 сейчас рассеется, и станут
 мигать ресницы, и в упор
 глаза играющие глянут
 и, первый, опущу я взор.

14

Не шло ей имя Виолета,
 (вернее: Вийолет, но это
 едва ли мы произнесем).
 С фиалкой [2] не было в ней сходства,—
 напротив: ярко, до уродства,
 глаза блестели, и на всем
 подолгу, радостно и важно
 взор останавливался влажный,
 и странно ширились зрачки…
 Но речи, быстры и легки,
 не соответствовали взору,—
 и доверять не знал я сам
 чему — пустому разговору
 или значительным глазам…

15

Но знал: предельного расцвета
 в тот год достигла Виолета,—
 а что могла ей принести
 британской барышни свобода?
 Осталось ей всего три года
 до тридцати, до тридцати…
 А сколько тщетных увлечений,—
 и все они прошли, как тени,—
 и Джим, футбольный чемпион,
 и Джо мечтательный, и Джон,
 герой угрюмый интеграла…
 Она лукавила, влекла,
 в любовь воздушную играла,
 а сердцем большего ждала.

16

Но день приходит неминучий;
 он уезжает, друг летучий:
 оплачен счет, экзамен сдан,
 ракета теннисная в раме,—
 и вот блестящими замками,
 набитый, щелкнул чемодан.
 Он уезжает. Из передней
 выносят вещи. Стук последний,—
 и тронулся автомобиль.
 Она вослед глядит на пыль:
 ну что ж — опять фаты венчальной
 напрасно призрак снился ей…
 Пустая улочка, и дальний
 звук перебора скоростей…

17

От инфлуэнции презренной
 ее отец, судья почтенный,
 знаток портвейна, балагур,
 недавно умер. Виолета
 жила у тетки. Дама эта
 одна из тех ученых дур,
 какими Англия богата,—
 была в отличие от брата
 высокомерна и худа,
 ходила с тросточкой всегда,
 читала лекции рабочим,
 культуры чтила идеал
 и полагала, между прочим,
 что Харьков — русский генерал.

18

С ней Виолета не бранилась,—
 порой могла бы, но ленилась,—
 в благополучной тишине
 жила, о мире мало зная,
 отца все реже вспоминая,
 не помня матери (но мне
 о ней альбомы рассказали,—
 о временах осиных талий,
 горизонтальных канотье.
 Последний снимок: на скамье
 она сидит; по юбке длинной
 стекают тени на песок;
 скромна горжетка, взор невинный,
 в руке крокетный молоток).

19

Я приглашен был раза два-три
 в их дом радушный, да в театре
 раз очутилась невзначай
 со мною рядом Виолета.
 (Студенты ставили Гамлета,
 и в этот день был рай не в рай
 великой тени барда.) Чаще
 мы с ней встречались на кричащей
 вечерней улице, когда
 снует газетчиков орда,
 гортанно вести выкликая.
 Она гуляла в этот час.
 Два слова, шуточка пустая,
 великолепье темных глаз.

20

Но вот однажды, помню живо,
 в начале марта, в день дождливый,
 мы на футбольном были с ней
 соревнованьи. Понемногу
 росла толпа,— отдавит ногу,
 пихнет в плечо,— и все тесней
 многоголовое кишенье.
 С самим собою в соглашенье
 я молчаливое вошел:
 как только грянет первый гол,
 я трону руку Виолеты.
 Меж тем, в короткие портки,
 в фуфайки пестрые одеты,—
 уж побежали игроки.

21

Обычный зритель: из-под кепки
 губа брезгливая и крепкий
 дымок Виргинии. Но вдруг
 разжал он губы, трубку вынул,
 еще минута — рот разинул,
 еще — и воет. Сотни рук
 взвились, победу понукая:
 игрок искусный, мяч толкая,
 вдоль поля ласточкой стрельнул,—
 навстречу двое,— он вильнул,
 прорвался,— чистая работа,—
 и на бегу издалека
 дубленый мяч кладет в ворота
 ударом меткого носка.

22

И тихо протянул я руку,
 доверясь внутреннему стуку,
 мне повторяющему: тронь…
 Я тронул. Я собрался даже
 пригнуться, зашептать… Она же
 непотеплевшую ладонь
 освободила молчаливо,
 и прозвучал ее шутливый,
 всегдашний голос, легкий смех:
 «Вон тот играет хуже всех,—
 все время падает, бедняга…»
 Дождь моросил едва-едва;
 мы возвращались вдоль оврага,
 где прела черная листва.

23

Домой. С гербами на фронтонах
 большое здание, в зеленых
 просветах внутренних дворов.
 Там тихо было. Там в суровой
 (уже описанной) столовой
 был штат лакеев-стариков.
 Там у ворот швейцар был зоркий.
 Существовала для уборки
 глухой студенческой норы
 там с незапамятной поры
 старушек мелкая порода;
 одна ходила и ко мне
 сбивать метелкой пыль с комода
 и с этажерок на стене.

24

И с этим образом расстаться
 мне трудно. В памяти хранятся
 ее мышиные шажки,
 смешная траурная шляпка,—
 в какой, быть может, и прабабка
 ее ходила,— волоски
 на подбородке… Утром рано
 из желтоватого тумана
 она беззвучно, в черном вся,
 придет и, щепки принеся,
 согнется куклою тряпичной
 перед холодным очагом,
 наложит кокс рукой привычной
 и снизу чиркнет огоньком.

25

И этот образ так тревожит,
 так бередит меня… Быть может,
 в табачной лавочке отца
 во дни Виктории [3], бывало,
 она румянцем волновала
 в жилетах клетчатых сердца —
 сердца студентов долговязых…
 Когда играет в темных вязах
 звук драгоценный соловья,
 ее встречал такой, как я,
 и с этой девочкой веселой
 сирень персидскую ломал;
 к ее склоненной шее голой
 в смятенье губы прижимал.

26

Воображенье дальше мчится:
 ночь… лампа на столе… не спится
 больному старику… застыл,
 ночной подслушивает шепот:
 отменно важный начат опыт
 в лаборатории… нет сил…
 Она приходит в час урочный,
 поднимет с полу сор полночный —
 окурки, ржавое перо;
 из спальни вынесет ведро.
 Профессор стар. Он очень скоро
 умрет, и он давно забыл
 душистый табачок, который
 во дни Виктории курил.

27

Ушла. Прикрыла дверь без стука…
 пылают угли. Вечер. Скука.
 И, оглушенный тишиной,
 я с кексом в родинках изюма
 пью чай, бездействуя угрюмо.
 В камине ласковый, ручной,
 огонь стоит на задних лапах,
 и от тепла шершавый запах
 увядшей мебели слышней
 в старинной комнатке моей.
 Горящей кочергою ямки
 в шипящей выжигать стене,
 играть с самим с собою в дамки,
 читать, писать,— что делать мне?

28

Отставя чайничек кургузый,
 родной словарь беру — и с музой,
 моею вялой госпожой,
 читаю в тягостной истоме
 и нахожу в последнем томе
 меж «хананыгой» и «ханжой»
 «хандра: тоска, унынье, скука;
 сплин, ипохондрия». А ну-ка
 стихотворенье сочиню…
 Так час-другой, лицом к огню,
 сижу я, рифмы подбирая,
 о Виолете позабыв,—
 и вот, как музыка из рая,
 звучит курантов перелив.

29

Открыв окно, курантам внемлю:
 перекрестили на ночь землю
 святые ноты четвертей,
 и бьют часы на башне дальней,
 считает башня, и печальней
 вдали другая вторит ей.
 На тяжелеющие зданья
 по складкам мантия молчанья
 спадает. Вслушиваюсь я,—
 умолкло все. Душа моя
 уже к безмолвию привыкла,—
 как вдруг, со смехом громовым
 взмывает ветер мотоцикла
 по переулкам неживым!

30

С тех пор душой живу я шире:
 в те годы понял я, что в мире
 пред Богом звуки все равны.
 В том городке под сенью Башен
 был грохот жизни бесшабашен,
 и смесь хмельная старины
 и настоящего живого
 мне впрок пошла: душа готова
 всем любоваться под луной,
 и стариной, и новизной.
 Но я в разладе с лунным светом,
 я избегаю тосковать…
 Не дай мне, Боже, стать поэтом,
 земное сдуру прозевать!

31

Нет! Я за книгой в кресле сонном
 перед камином озаренным
 не пропустил, тоскуя зря,
 весны прелестного вступленья.
 Довольно угли и поленья
 совать в камин — до октября.
 Вот настежь небеса открыты,
 вот первый крокус глянцевитый,
 как гриб, сквозь мураву пророс,
 и завтра, без обильных слез,
 без сумасшедшего напева,
 придет, усядется она,—
 совсем воспитанная дева,
 совсем не русская весна.

32

И вот пришла. Прозрачней, выше
 курантов музыка, и в нише
 епископ каменный сдает
 квартиры ласточкам. И гулко
 дудя в пролете переулка,
 машина всякая снует.
 Шумит фонтан, цветет ограда.
 Лоун-теннис — белая отрада —
 сменяет буйственный футбол:
 в штанах фланелевых пошел
 весь мир играть. В те дни кончался
 последний курс — девятый вал,
 и с Виолетой я встречался
 и Виолету целовал.

33

Как в первый раз она метнулась
 в моих объятьях,— ужаснулась,
 мне в плечи руки уперев,
 и как безумно и уныло
 глаза глядели! Это было
 не удивленье и не гнев,
 не девичий испуг условный…
 Но я не понял… Помню ровный,
 остриженный по моде сад,
 шесть белых мячиков и ряд
 больших кустов рододендрона;
 я помню, пламенный игрок,
 площадку твердого газона
 в чертах и с сеткой поперек.

34

Она лениво — значит, скверно —
 играла; не летала серной,
 как легконогая Ленглен [4].
 Ах, признаюсь, люблю я, други,
 на всем разбеге взмах упругий
 богини в платье до колен!
 Подбросить мяч, назад согнуться,
 молниеносно развернуться,
 и струнной плоскостью сплеча
 скользнуть по темени мяча,
 и, ринувшись, ответ свистящий
 уничтожительно прервать,—
 на свете нет забавы слаще…
 В раю мы будем в мяч играть.

35

Стоял у речки дом кирпичный:
 плющом, глицинией обычной
 стена меж окон обвита.
 Но кроме плюшевой гостиной,
 где я запомнил три картины:
 одна — Мария у Креста,
 другая — ловчий в красном фраке,
 и третья — спящие собаки,—
 я комнат дома не видал.
 Камин и бронзовый шандал
 еще, пожалуй, я отмечу,
 и пианолу под чехлом,
 и ног нечаянную встречу
 под чайным чопорным столом.

36

Она смирилась очень скоро…
 Уж я не чувствовал укора
 в ее послушности. Весну
 сменило незаметно лето.
 В полях блуждаем с Виолетой:
 под черной тучей глубину
 закат, бывало, разрумянит,—
 и так в Россию вдруг потянет,
 обдаст всю душу тошный жар,—
 особенно, когда комар
 над ухом пропоет, в безмолвный
 вечерний час,— и ноет грудь
 от запаха черемух. Полно,
 я возвращусь когда-нибудь.

37

В такие дни, с такою ленью
 не до науки. К сожаленью,
 экзамен нудит, хошь не хошь.
 Мы поработаем, пожалуй…
 Но книга — словно хлеб лежалый,
 суха, тверда — не разгрызешь.
 Мы и не то одолевали…
 И вот верчусь средь вакханалий
 названий, в оргиях систем,
 и вспоминаю вместе с тем,
 какую лодочник знакомый
 мне шлюпку обещал вчера,
 и недочитанные томы —
 хлоп, и на полочку. Пора!

38

К реке воскресной, многолюдной
 местами сходит изумрудный
 геометрический газон,
 а то нависнет арка: тесен
 под нею путь — потемки, плесень.
 В густую воду с двух сторон
 вросли готические стены.
 Как неземные гобелены,
 цветут каштаны над мостом,
 и плющ на камне вековом
 тузами пиковыми жмется,—
 и дальше, узкой полосой,
 река вдоль стен и башен вьется
 с венецианскою ленцой.

39

Плоты, пироги да байдарки;
 там граммофон, тут зонтик яркий;
 и осыпаются цветы
 на зеленеющую воду.
 Любовь, дремота, тьма народу,
 и под старинные мосты,
 сквозь их прохладные овалы,
 как сон блестящий и усталый,
 все это медленно течет,
 переливается,— и вот
 уводит тайная излука
 в затон черемухи глухой,
 где нет ни отсвета, ни звука,
 где двое в лодке под ольхой.

40

Вино, холодные котлеты,
 подушки, лепет Виолеты;
 легко дышал ленивый стан,
 охвачен шелковою вязкой;
 лицо, не тронутое краской,
 пылало. Розовый каштан
 цвел над ольшаником высоко,
 и ветерок играл осокой,
 по лодке шарил, чуть трепал
 юмористический журнал;
 и в шею трепетную, в дужку
 я целовал ее, смеясь.
 Смотрю: на яркую подушку
 она в раздумье оперлась.

41

Перевернула лист журнала
 и взгляд как будто задержала,
 но взгляд был темен и тягуч:
 она не видела страницы…
 Вдруг из-под дрогнувшей ресницы
 блестящий вылупился луч,
 и по щеке румяно-смуглой,
 играя, покатился круглый
 алмаз… «О чем же вы, о чем,
 скажите мне?» Она плечом
 пожала и небрежно стерла
 блистанье той слезы немой,
 и тихим смехом вздулось горло:
 «Сама не знаю, милый мой…»

42

Текли часы. Туман закатный
 спустился. Вдалеке невнятно
 пропел на пастбище рожок.
 Налетом сумеречно-мглистым
 покрылся мир, и я в слоистом,
 цветном фонарике зажег
 свечу, и тихо мы поплыли
 в туман,— где плакала не ты ли,
 Офелия, иль то была
 лишь граммофонная игла?
 В тумане звук неизъяснимый
 все ближе, и, плеснув слегка,
 тень лодки проходила мимо,
 алела капля огонька.

43

И может быть, не Виолета,—
 другая, и в другое лето,
 в другую ночь плывет со мной…
 Ты здесь, и не было разлуки,
 ты здесь, и протянула руки,
 и в смутной тишине ночной
 меня ты полюбила снова,
 с тобой средь марева речного
 я счастья наконец достиг…
 Но, слава Богу, в этот миг
 стремленье грезы невозможной
 звук речи а’нглийской прервал:
 «Вот пристань, милый. Осторожно».
 Я затабанил и пристал.

44

Там на скамье мы посидели…
 «Ах, Виолета, неужели
 вам спать пора?» И заблистав
 преувеличенно глазами,
 она в ответ: «Судите сами,—
 одиннадцать часов»,— и встав,
 в последний раз мне позволяет
 себя обнять. И поправляет
 прическу: «Я дойду одна.
 Прощайте». Снова холодна,
 печальна, чем-то недовольна,—
 не разберешь… Но счастлив я:
 меня подхватывает вольно
 восторг ночного бытия.

45

Я шел домой, пьянея в тесных
 объятьях улочек прелестных,—
 и так душа была полна,
 и слов была такая скудность!
 Кругом — безмолвие, безлюдность
 и, разумеется, луна.
 И блики на панели гладкой
 давя резиновою пяткой,
 я шел и пел «Алла верды»,
 не чуя близости беды…
 Предупредительно и хмуро
 из-под невидимых ворот
 внезапно выросли фигуры
 трех неприятнейших господ.

46

Глава их — ментор наш упорный:
 осанка, мантия и черный
 квадрат покрышки головной,—
 весь вид его — укор мне строгий.
 Два молодца — его бульдоги —
 с боков стоят, следят за мной.
 Они на сыщиков похожи,
 но и на факельщиков тоже:
 крепки, мордасты, в сюртуках,
 в цилиндрах. Если же впотьмах
 их жертва в бегство обратится,
 спасет едва ли темнота,—
 такая злая в них таится
 выносливость и быстрота.

47

И тихо помянул я черта…
 Увы, я был одет для спорта,
 а ночью требуется тут
 (смотри такой-то пункт статута)
 ходить в плаще. Еще минута,
 ко мне все трое подойдут,
 и средний взгляд мой взглядом встретит,
 и спросит имя, и отметит,—
 «спасибо» вежливо сказав;
 а завтра — выговор и штраф.
 Я замер. Свет белесый падал
 на их бесстрастные черты.
 Надвинулись… И тут я задал,
 как говорится, лататы.

48

Луна… Погоня… Сон безумный…
 Бегу, шарахаюсь бесшумно:
 то на меня из тупика
 цилиндра призрак выбегает,
 то тьма плащом меня пугает,
 то словно тянется рука
 в перчатке черной… Мимо, мимо…
 И все луною одержимо,
 все исковеркано кругом…
 И вот стремительным прыжком
 окончил я побег бесславный,
 во двор коллегии пролез,
 куда не вхож ни ангел плавный,
 ни изворотливейший бес.

49

Я запыхался… Сердце бьется…
 И ночь томит, лениво льется…
 И в холодок моих простынь
 вступаю только в час рассвета,
 и ты мне снишься, Виолета,
 что просишь будто: «Плащ накинь…
 не тот, не тот… он слишком узкий…»
 Мне снится, что с тобой по-русски
 мы говорим, и я во сне
 с тобой на ты,— и снится мне,
 что, будто принесла ты щепки,
 ломаешь их, в камин кладешь…
 Ползи, ползи, огонь нецепкий,—
 ужели дымом изойдешь?

50

Я поздно встал, проспал занятья…
 Старушка чистила мне платье:
 под щеткой — пуговицы стук.
 Оделся, покурил немного;
 зевая, в клуб Единорога
 пошел позавтракать,— и вдруг
 встречаю Джонсона у входа!
 Мы не видались с ним полгода—
 с тех пор, как он экзамен сдал.
 — «С приездом, вот не ожидал!»
 — «Я ненадолго, до субботы,
 мне нужно только разный хлам —
 мои последние работы —
 представить здешним мудрецам».

51

За столик сели мы. Закуски
 и разговор о том, что русский
 прожить не может без икры;
 потом — изгиб форели синей,
 и разговор о том, кто ныне
 стал мастер теннисной игры;
 за этим — спор довольно скучный
 о стачке, и пирог воздушный.
 Когда же, мигом разыграв
 бутылку дружеского Грав,
 за обольстительное Асти
 мы деловито принялись,—
 о пустоте сердечной страсти
 пустые толки начались.

52

«— Любовь…» — и он вздохнул протяжно:
 «Да, я любил… Кого — неважно;
 но только минула весна,
 я замечаю,— плохо дело;
 воображенье охладело,
 мне опостылела она».
 Со мной он чокнулся уныло
 и продолжал: «Ужасно было…
 Вы к ней нагнетесь, например,
 и глаз, как, скажем, Гулливер,
 гуляющий по великанше,
 увидит борозды, бугры
 на том, что нравилось вам раньше,
 что отвращает с той поры…»

53

Он замолчал. Мы вышли вместе
 из клуба. Говоря по чести,
 я был чуть с мухой, и домой
 хотелось. Солнце жгло. Сверкали
 деревья. Молча мы шагали,—
 как вдруг угрюмый спутник мой,—
 на улице Святого Духа —
 мне локоть сжал и молвил сухо:
 «Я вам рассказывал сейчас… —
 Смотрите, вот она, как раз..»
 И шла навстречу Виолета,
 великолепна, весела,
 в потоке солнечного света,
 и улыбнулась, и прошла.

54

В каком-то раздраженье тайном
 с моим приятелем случайным
 я распрощался. Хмель пропал.
 Так; поваландался, и баста!
 Я стал работать,— как не часто
 работал, днями утопал,
 ероша волосы, в науке,
 и с Виолетою разлуки
 не замечал; и, наконец,
 (как напрягается гребец
 у приближающейся цели)
 уже я ночи напролет
 зубрил учебники в постели,
 к вискам прикладывая лед.

55

И началось. Экзамен длился
 пять жарких дней. Так накалился
 от солнца тягостного зал,
 что даже обморока случай
 произошел, и вид падучей
 сосед мой справа показал
 во избежание провала.
 И кончилось. Поцеловала
 счастливцев Альма Матер в лоб;
 убрал я книги, микроскоп,—
 и вспомнил вдруг о Виолете,
 и удивился я тогда:
 как бы таинственных столетий
 нас разделила череда.

56

И я уже шатун свободный,
 душою легкой и голодной
 в другие улетал края,—
 в знакомый порт, и там в конторе
 вербует равнодушно море
 простых бродяг, таких, как я.
 Уже я прожил все богатства:
 портрет известного аббатства [5]
 всего в двух копиях упас.
 И в ночь последнюю — у нас
 был на газоне, посредине
 венецианского двора,
 обычный бал, и в серпантине
 мы проскользили до утра.

57

Двор окружает галерея.
 Во мраке синем розовея,
 горят гирлянды фонарей —
 Эола легкие качели.
 Вот музыканты загремели —
 пять черных яростных теней
 в румяной раковине света.
 Однако где же Виолета?
 Вдруг вижу: вот стоит она,
 вся фонарем озарена,
 меж двух колонн, как на подмостках.
 И что-то подошло к концу…
 Ей это платье в черных блестках,
 быть может, не было к лицу.

58

Прикосновеньем не волнуем,
 я к ней прильнул, и вот танцуем:
 она безмолвна и строга,
 лицом сверкает недвижимым,
 и поддается под нажимом
 ноги упругая нога.
 Послушны грохоту и стону
 ступают пары по газону,
 и серпантин со всех сторон.
 То плачет в голос саксофон,
 то молоточки и трещотки,
 то восклицание цимбал,
 то длинный шаг, то шаг короткий,—
 и ночь любуется на бал.

59

Живой душой не правит мода,
 но иногда моя свобода
 случайно с нею совпадет:
 мне мил фокстрот, простой и нежный…
 Иной мыслитель неизбежно
 симптомы века в нем найдет,—
 разврат под музыку бедлама;
 иная пишущая дама
 или копеечный пиит
 о прежних танцах возопит;
 но для меня, скажу открыто,
 особой прелести в том нет,
 что грубоватый и немытый
 маркиз танцует менуэт.

60

Оркестр умолк. Под колоннаду
 мы с ней прошли, и лимонаду
 она глотнула, лепеча.
 Потом мы сели на ступени.
 Смотрю: смешные наши тени
 плечом касаются плеча.
 «Я завтра еду, Виолета».
 И было выговорить это
 так просто… Бровь подняв, она
 мне улыбнулась, и ясна
 была улыбка: «После бала
 легко все поезда проспать».
 И снова музыка стонала,
 и танцевали мы опять.

61

Прервись, прервись, мой бал прощальный!
 Пока роняет ветер бальный
 цветные ленты на газон
 и апельсиновые корки,—
 должно быть, где-нибудь в каморке
 старушка спит, и мирен сон.
 К ней пятна лунные прильнули;
 чернеет платьице на стуле,
 чернеет шляпка на крюке;
 будильник с искрой в куполке
 прилежно тикает; под шкапом
 мышь пошуршит и шуркнет прочь;
 и в тишине смиренным храпом
 исходит нищенская ночь.

62

Моя старушка в полдень ровно
 меня проводит. Я любовно
 ракету в раму завинтил,
 нажал на чемодан коленом,
 захлопнул. По углам, по стенам
 душой и взглядом побродил:
 да, взято все… Прощай, берлога!
 Стоит старушка у порога…
 Мотора громовая дрожь,—
 колеса тронулись… Ну что ж,
 еще один уехал… Свежий
 сюда вселится в октябре,—
 и разговоры будут те же,
 и тот же мусор на ковре…

63

И это все. Довольно, звуки,
 довольно, муза. До разлуки
 прошу я только вот о чем:
 летя, как ласточка, то ниже,
 то в вышине, найди, найди же
 простое слово в мире сем,
 всегда понять тебя готовом;
 и да не будет этим словом
 ни моль бичуема, ни ржа [6];
 мгновеньем всяким дорожа,
 благослови его движенье,
 ему застыть не повели;
 почувствуй нежное вращенье
 чуть накренившейся земли.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 [1] Муза эпических поэм, старшая из муз.
 [2] Violet — фиалка (англ.).
 [3] Английская королева 1819—1901
 [4] Сюзанна Ленглен (1899— 1938) — знаменитая теннисистка.
 [5] Изображение на английских банкнотах.
 [6] Евангелист Матфей обозначил словами «моль» и «ржа» земное, преходящее.***